

Привязанности суетно кочуют в этом изменчивом мире, слабеют от груза досадных ошибок, оттеняющих и делающих еще более примечательной, памятной ту минуту, когда две руки, тонкие, как ниточки, пробили заслоны стеснительности, срослись, в подражающем взрослому пожатии, образовали крепкий узелок, связавший воедино два юных существа. Было лето, самое начало его, жаркого и пыльного в городе, пропахшего выхлопными газами. Начинался дождь, и редкие, полновесные капли шлепались на серый асфальт, превращались в черные кружочки, которые повсеместно множились, соприкасались между собой, отчего асфальт быстро стал рябым, а затем сплошь черным, подобострастно подчиняясь хмурой окраске грозового неба. Разительно выделялись на тротуаре сухие местечки самых причудливых очертаний – светлые тени, отбрасываемые тополями, ясенями и липами. Стремительно нарастала густота дождевых нитей и дома, деревья, дорога, автомобили на ней потеряли целостность своих форм и постепенно скрывались за пологом разошедшегося ливня. Улица пропала, как капризное сновидение или утонула в хлынувших сверху водах. А морщинистый, в частых наростах и утолщениях ствол ясеня, надежный, неподвижный среди всеобщей текучести и стираемости, казался осью мироздания, в котором остались только два слабых человечка, с непритворным испугом вззирающие из-под ажурного навеса на небо, раздираемое желтыми молниями. Зеленолиственный купол над головами заполнялся шуршанием шустрых капель, которые старались пробиться к земле, а сами листья отяжелели от влаги, которая вначале покрыла прозрачной пленкой верхние, а потом нижние ярусы кроны. Капли, образованные из слияния останков своих предшественниц, растекшихся по поверхности этого трепетно вздрагивающего сразу во многих местах зонта, все же соскальзывали вниз, кропили сухую

светлую полянку, неизбежно задевали затылки, руки, сочлились по спине и ногам, тревожно щекоча остывающую кожу. А в широко открытых глазах расцветал безудержный восторг от мощи нагрывавшей стихии. Наконец, в складках июньского ливня начали проблескивать знакомые очертания предметов и сквозь шум льющейся воды пробиваться привычные созвучия: по тротуару спешили редкие прохожие, а по дороге медленно катили автомобили, которые выныривали из полупрозрачной завесы, состоящей из мириадов летящих водяных горошин и черточек. Взгляд уже беспрепятственно достигал до близстоящих деревьев, домов с двухскатными крышами и даже доставал до высокой, заброшенной водонапорной башни, сложенной из темно-красного кирпича. В воздухе разливалась ясность. Мир раздался до привычных размеров, ограниченных улицей. Полотно дождя распалось или расплелось на отдельные, редкие струйки, дополняемые тонкими, витыми водопадами, льющимися из когда-то покрашенных труб, увенчанных у карнизов крыш широкими воронками. Эти изогнутые у поверхности тротуара трубы походили на диковинные инструменты духового оркестра, приклоненные к стенам домов неведомыми великанами.

Разомкнувшись в светлеющем небе, неповоротливые тучи образовали прорехи, и на землю, густо усыпанную дрожащими бусинками, обрушился солнечный ливень. И каждый камешек, лист, карниз каждой крыши вспыхнул с невиданной силой: все вокруг было отмыто до золотистого блеска короткой, ворчливой грозой. Дорога очистилась от пыли, воздух – от гари, улица стряхнула с себя бремя зноя, и небо освободилось от туч. Босые ноги с удовольствием погружались в теплые, мутные лужи и раскрывался широкий веер брызг, летящих в сверкающем ореоле. Насыщенный испарениями воздух вибрировал, колебался, обретал осязаемость и необычную искристость. Вся земля покрылась пронзительно яркими бликами, и не было конца ликованием от радуги, зависшей над парком и сцепившей землю с небом. Наступил праздник света – сочащегося, лучащегося, слепящего, льющегося сверху или вонзающегося в тени солнечными зайчиками: света, каплющего с ветвей и даже с электрических проводов, нависших над дорогой; света, осыпающего всю улицу неуловимой, благородной пылью с привкусом свежести; света, соскальзывающего с крыльев автомобилей, испещрившего основание водонапорной башни, окруженной, как подростками-пажами, молодыми тополями. Каменный исполин высился над всей округой и только тени от облаков, птиц, да еще худосочных двух кустиков, которым так и не суждено было вырасти в деревья, покрывали его макушку. Эти два растения судорожно вгрызлись в разрушающуюся стену башни на стыке с невидимой крышей. Каждодневно поражало упорство жизни, утвердившейся на рукотворной, отвесной круче, и хотелось дотронуться до них, убедиться в том, что отчаянно смелые прутья, неведомо откуда взявшие силы для своего роста, похожи на тополиную поросль, торчащую из земли. Вознесенные над средой своего обитания прихотью случая, они не погибли, выстояли, наперекор каменной пустыне и теперь всех раньше в округе встречали солнце и всех позже провожали его. Своей удивительной стойкостью они пробуждали дерзкие планы, ничуть не выглядели жалкими, будучи калеками, наоборот, они неизменно восхищали, и были исполнены непередаваемой словами грации их кривые очертания на фоне темнеющего неба, заполняемого звездами.

Со временем теряют свою привлекательность и становятся безлико-неприметными невзрачные, приземистые дома – составные обычной заштатной улицы, как не удивляют любые поразительные, но давно примелькавшие вещи. Однако любопытным мальчишеским глазам еще не отказано видеть необычное в обыденном, и потому они не могут не обратить внимание на полукирпичные и полудеревянные дома, построенные по неведомому юному уму закону купеческого рационализма. Совершенно нельзя и пройти просто так мимо глухого забора с врезанной в него калиткой, озаглавленной «Осторожно, злая собака», и не ударить по той калитке палкой, дабы воздух содрогнулся от яростного и хриплого лая цепного пса, ненавидящего всех, кроме своего кормильца-хозяина. Долго восхищенно-завистливый взгляд провожает лихого парня, который непринужденно катит на двухколесном велосипеде, прямо восседая на пружинящем седле, и не касается руками изогнутого, как лук, руля. Невозможно не заметить окно, заплывшее от заката, или равнодушно крутиться вокруг толстоногой скамьи, растрескавшиеся столбы которой прихотливо обвиты изумрудными змейками мха. Трудно преодолеть искушение и не поднять с земли пузырек из прочного синего стекла и не убедиться в незаполненности этой странной емкости. А разве можно не потрогать младенческую нежность «анютиных глаз», высаженных на овальной нарядной клумбе, раскинувшейся в центре парка, бывшего когда-то кладбищем? Разве можно не попытаться поймать, поспешно стянутой с себя майкой, бабочку, которая беззаботно качается бледно-желтым лепестком на гнущейся под легковесной ношей травинке? Взгляд не стремится охватить окружающее пространство, выделить какие-то закономерности в столпотворении вещей, но зато он исключительно внимателен к малейшим мелочам, которые обычно ускользают от внимания взрослых, и воспринимает все по-своему, иначе, чем это было задумано, определено и носит соответствующий ярлык-название. Еще отсутствует осторожность, и нет навыка применяться к обстоятельствам: мир преобразается без всяких усилий, подчиняясь разветвленному течению фантазий. Детские глаза окружают себя верткими мнимостями, которые рассыпаются в прах, теряют свою весомость, притягательность и улетучиваются, стоит только показать их взрослым, но сохраняются, долго живут и содержат глубокий смысл, если не выносить их на суд старших. Как пчела неутомимо ныряет в сладкие недра цветка, так и ребенок самозабвенно погружается в каждый распускающийся день, извлекает из него бесценные находки, с воодушевлением обживает одно царство, чтобы завтра оказаться в другом, столь же неповторимом, как и предыдущее.

В узком лабиринте покосившихся, залатанных свежеструганных досками или многослойной фанерой, сараев с утра до вечера бурлит захватывающая игра. Будоражат тишину захламленных глухих закоулков торжествующие крики, мелькают самодельные сабли и мечи, предательски трещат штаны и рубашки, пойманные ржавыми гвоздями, которые спрятались в углублениях деревянных стен. За каждым поворотом может подстергать засада, а за любым выступом – караулить ловушка. Малейшая оплошность и вот уже тяжелая лента воды обрушивается на голову из ведра и все смешивается перед глазами, не способными отличить неба от земли. Но быстро вновь различаешь обломанные, низкие карнизы сарайных крыш, знакомые лица, исцарапанные

боевые щиты и чуешь, как чьи-то руки хищно вцепились в плечи, как прогнулась спина от тупого острия пики и сквозь шум стекающей воды отчетливо слышишь приговор: «Ты – в плену!»

Число соратников и противников зависит от дней недели, ясности неба и многих других нежданно-негаданно привходящих причин. В сарайный лабиринт – это своеобразное ристалище – устремляются те, кто хочет подвергнуть себя испытанию на смелость и отвагу и пережить мгновения вымышленной опасности. Вспыхивают стычки на ненадежных крышах, идут погони в запутанных проходах и закоулках, раздаются воинственные кличи: капают на грудь горькие слезы в случае поражения и захлестывает безудержное ликование, когда одержал победу в тяжелой схватке. А затем идет нескончаемый разговор, воссоздающий перипетии очередного сражения, и что-то слегка преувеличиваешь, чуточку искажаешь, о чем-то умалчиваешь, толику прибавляешь от себя, оттеняя моменты, убедительно свидетельствующие о твоей ловкости и смекалке и вскользь упоминая те мгновения, как растерянность или испуг возобладали над выдержкой.

Именно в этом лабиринте впервые сталкиваешься с обманом и с подлостью и начинаешь сознавать важность бескорыстного поручительства друг за друга. Лицо, щиколотки, локти, колени, пальцы покрываются ссадинами, расцветают и увядают синяки от ушибов и порой наливаются густой, вязкой болью бок или плечо, но когда-то обязательно рассасывается и она. Быстро сбрасывает кожа, как ненужную шелуху, корочки болячек и опять тело первозданно чистое не помнит исчезнувшие следы неизбежных уколов и ушибов.

Хочется быть участником всех затей, очевидцем всех происшествий, и улица, предрекающая постепенное расширение пространства знаковой жизни, неудержимо манит к себе, околдовывает магией непрерывно вершащихся перемен, предстает страной, полной несметных сокровищ. А стоит только на час-другой покинуть эту страну, протомиться в стенах своей квартиры, как звонкий голос, пробивая прозрачную преграду оконного стекла, возвещает о новом событии: «Возле старой липы поставили здоровенную урну!»

* * *

Улица ограничена с боков одно и двухэтажными домами, соединенными шаткими, валкими или глухими, непроницаемыми заборами. Улица ускользает далеко вперед и упирается в сосредоточие массивных зданий, которые выглядят хаотичным нагромождением коричневых скал, застилаемых сизой пеленой. Над этими скалами высятся прямые стволы труб: из них даже в воскресный день упрямо высовываются седые чубы то ли дыма, то ли пара. А за спиной улица плавно уходит вниз, исчезает в сужающейся для глаз тополино-липовой аллее, которая зелеными стенами отделяет дома от дороги. Буйные и темные вдали клубы крон деревьев смыкаются и загораживают собой ворота колхозного рынка – уже изведенного места, ошеломившего своим многолюдьем.

Откуда-то и куда-то едут автомобили: они появляются на черте видимости мелкими букашками, но их размеры быстро увеличиваются, и вот уже до ушей доносится их гул, завораживают глаза их плавные линии и гладкая лакированная поверхность кабин, по которым растеклись солнечные блики. А сзади каждого автомобиля тянется еле приметный хвост взвихренной пыли, пропитанной гарью и бензином. Автомобили

исчезают также стремительно, как и возникают, оставляя после себя тяжелый, резкий запах, и тот призрачным джинном витает возле деревьев, просачивается между ними, заползает на тротуар, проникает в открытые форточки домов – бесплотный и навязчивый. Для шоферов эта улица – всего лишь небольшое расстояние, проехать которое они стараются без задержек.

А наверху суматошно носятся птицы, плывут в разные стороны облака. По тротуару спешат к рынку прохожие с пустыми сумками, кошелками и корзинками, а обратно возвращаются отягощенные разнообразным провиантом. Устье улицы, впадающей в необозримую торговую площадь, ежедневно манит к себе, но более притягателен противоположный ей конец, откуда едут на рынок груженные овощами и фруктами автомобили, и откуда спешат с пустыми кошелками и сумками покупатели. И однажды мягкая волна нового желания сталкивает с обжитых мест и тащит в неизведанное. Кружит метель тополиного пуха, по земле скользят пятнышки теней от невесомых шариков, красота которых гаснет в лужах, распростершихся возле водопроводных колонок. Ступают ноги по размягченному жарой асфальту, жирно лоснятся вспотевшие листья, обессиленный ветерок запутался в сплетениях ветвей. Тени предельно близко подтянулись к своим хозяевам. С железных крыш стекает зной наступившего полдня. Постепенно укрупняются, выступают из марева прокопченные заводские здания, а взгляд беспомощно блуждает в скопище высоких и низких построек, непонятных металлических сооружений, которые выглядят из-за накренившегося, щелистого забора. Однако дорога не завершается из-за этого неприветливого забора, а круто загибается на другую улицу, незнакомую и чужую, наполненную гулом работающих незримых механизмов. И вдруг глаза заметили в узком проходе между двумя громоздкими зданиями мерцающую глубину. Короткий рывок по каменному ущелью и распахнулось искристое, широкое, скупых голубоватых оттенков поле реки, взлохмаченное неугомонным здесь ветром, напоенным запахами смолы и водорослей. В промежутках между валунами робко тычутся волны, и сердце начинает взволнованно подпевать биению воды о неровный берег. Натруженно пыхтят тупоносые толкачи, оставляя за собой пенные сужающиеся дорожки – точно гурты белоснежных ягнят бежали за своими погонщиками. А далее, на самом фарватере светлел безупречно белый пароход: он плыл величественным айсбергом на фоне крутобокого темно-зеленого вала противоположного берега, в складки и террасы которого каскадами врезались крошечные и большие дома. В непривычном ракурсе виделись набережная и белесый пляж, гигантской рыбиной подкравшийся к аркам моста, далекого и таинственного.

Хотя город домами, складами, цехами напознал на реку, стискивал ее бетонно-кирпичными громадами, она все равно оставалась прекрасным гульбищем для вольного ветра. Уже неоднократно рука взрослого приводила по другим улочкам на видневшуюся в новой перспективе набережную и дальше на пляж, соединенный с плавно изогнутым берегом понтонным мостом, но никогда еще не доводилось стоять здесь, на самом краю улицы, вместившей всю прежнюю жизнь. Полы расстегнутой рубашки разлетаются от порывов ветра, и грудь распирает гордость от сделанного открытия – родная улица граничит с самой рекой. И на какое-то мгновение трепещущая за спиной рубашка кажется синими крыльями, которые вот-вот позволят оторваться от земли и взлететь...

Внизу, у изломанной линии кромки воды, сидят на корточках ребята: торчат угловатые локти, выпирают острые лопатки. Мальчишки тоже похожи на птиц. Ни с того ни сего, повинувшись неслышному призыву, они стайкой взмывают с камней в воздух и, описав дугу, вонзаются в ребристую от частых волн поверхность воды: мелькают их розовые пятки, а на следующее мгновение уже на том месте резвятся одни лишь бойкие блики. Проходит несколько медлительных мгновений, прежде чем белобрысые и черноволосые головы прорвут голубое и мятое покрывало реки. И так играя и ныряя, мальчишки вернуться к облюбованным ими валунам или поплывут к первым бетонным плитам набережной, или юрким косяком устремятся к пляжу, который выглядит более недостижимым, нежели крыша заброшенной водонапорной башни, увенчанная двумя тополиными кустиками. В путанице сумбурных помыслов вспыхивают случайными огоньками желания стать таким же отчаянным сорванцом, также легко взмывать вверх и, легко перекувыркнувшись в воздухе, входить стрелой в воду, почти не поднимая брызг, также ловко и сноровисто скользить по прогретой солнцем поверхности реки над холодным мглистым дном. А ветер высоко, почти вровень с лопатками приподнимает полы рубашки, подхватывает волосы, упруго толкает в грудь, точно вознамерился столкнуть с пятка земли в набегающую волну. А может куда-то зовет, увлекает за собой и вовсе не тебя, а нечто в тебе покоящееся, дремлющее и пока еще не растревоженное рекой времени – твою крылатую душу, наделенную врожденной способностью летать.

* * *

Нельзя позабыть обнаруженную узкую лазейку, что ведет к несопоставимо более прекрасному миру, нежели маленький дружный двор и пыльная улица. Все восхищает на реке: сумятица запахов, длинные баржи, ведомые кряжистыми буксирами, заросший густым кустарником на своих закругленных окончаниях, песчаный пляж. Если смотреть на него долго и пристально, то вскоре начинает мерещиться, что он медленно плывет, а точнее даже ползет по шероховатой от ряби и бугорков волн, голубой дороге. Но на следующий день и на следующий пляж неизменно оставался на месте, вновь порождая иллюзию соподчинения течению реки.

Справа от этой смотровой площадки высится серая громада элеватора, настоящего богатыря по сравнению со всеми рядом стоящими строениями. Возле него топорщится в одиночестве корявый клен, перекрученный бурями и ураганами – но зато, как красива на том дереве, смахивающем на толстый, безобразный корень, тончайшая, зубчатая кайма листьев, редких на нервных ветвях и преждевременно опадающих. Залетев на реку, они казались следами неведомых, диковинных птиц, которые только что отдыхали на покатых волнах и затем улетели в другую сказку, волшебным образом оставив среди бесчисленных вспыхивающих и тут же гаснущих огоньков, неразстворимые или нестираемые отпечатки своих перепончатых лапок.

Уже не раз и не два глаза подмечали плещущихся у берега юрких ровесников. Никем не опекаемые и не опутанные взглядами взрослых соглядатаев, беспризорные мальчуганы, растущие как сорняки, весело и беззаботно играли на мелководье. Их радостные вскрики и довольное визжание искушали нарушить строжайшее родительское табу: боязнь

разоблачения в тяжком проступке грызлась с безрассудной отвагой, с жарким желанием ни в чем не отставать от своих сверстников, которые жили вне запретов и ограничений.

И вот босые ступни вздрагивают от ластящейся к ногам прогретой воды, на лице – напускное равнодушие перемежается с предательски проступающей неуверенностью. Волна, поднятая близко проехавшим катером, играючи ударила о колено, осыпав брызгами и живот, и руки... Зажмурив глаза, бросаешься как в бездну в седогривый вал, идущий следом за первой волной.

А через несколько блаженных минут незатейливых забав и беспрестанных ныряний, когда над головой то смыкается серовато подвижный свод, то распахивается другой, ясный и голубой, устало выбираешься на берег, возбужденный от того, что переступил запретный рубеж. Среди нагромождения камней мелькают лоскутья костра, крохотного солнца в заливишке, придавленном тенью от массивного элеватора. Осторожно покачиваясь на макушках валунов, балансируя руками, подбираешься к огню и садишься в кружок, среди нахохлившихся мальчишек: присутствуешь здесь как равный, уже окрещенный для когда-то предстоящей самостоятельной жизни.

Слишком много открытий, впечатлений, отклонений от послушания старшим несет каждый новый день, и необходим как воздух или как вода, поверенный твоего восхищения, твоих грез и тайн, соучастник проделок, единомышленник, параллельно с тобой шагающий в неведомое.

* * *

Если у мальчишки есть что-то светлое и неизменное, некая точка опоры, обнаруженная не под нажимом непреодолимых обстоятельств и не предопределенная природой родственная связь, а выбранная свободно, по собственному велению и даже вопреки мнениям пестующих его людей, то такое благоприобретение представляет мальчишке редкостную возможность самому производить отбор ценностям, выпадающим в начале жизни. Этот отбор производится не под принуждением страха или из-за внезапно налетающих капризов, а уже согласно тем негласным, но властным требованиям, которые предъявляет дружба. Подобный союз придает юному человечку спасительное чувство уверенности в себе и подспудное понимание своей необходимости в этом дворе, на этой улице, в этом городе, неясные границы которого совпадают с беспредельностью мира

Мучительно вынужденное затворничество, когда тебя крутит, ошарашивает, бросает из стороны в сторону, распирает изнутри приток новых ощущений, впечатлений и увлечений. Но нельзя оголять душу перед каждым ровесником или знакомым, потому что будешь тщетно искать в чужих глазах понимания и одобрения высказанному или соболезнаванию от услышанных излияний, и не так истолкованный, превратно воспринятый, стремительно разуверишься в людях и просто ожесточишься. К тому же, когда-то непременно прихлынет грязной волной осуждение в том, что безалаберен, неосмотрителен, болтлив, любишь заниматься самоуничижением или нуден и пригнетет подавленность от наитийной догадки, что Прекрасное было рядом, но прошло мимо, ускользнуло от глаз неузнанным. Твой вопрошающий и доверчивый взгляд, мечущийся по знакомым и малознакомым

лицам, надолго не задержался ни на одном из них. И болезненно вторгнется в сознание мысль о том, что мальчишеский дух, страстно тяготеющий к обогащению и развитию через общение, через понимание кем-то другим твоих сокровенных чаяний, впустую растранижил это дарование и обрек себя на прозябание в скопище тысяч и тысяч душ, страдающих от напасти нашего времени-отчужденности, многоликой и вездесущей.

Школьный коридор оглушает на переменах бесконечной переключкой и взаимным перебиванием звонких голосов. Порой эти голоса сливаются в жужжание, внезапно переходящее в настоящий гвалт. Школьный коридор ослепляет мельканием незнакомых физиономий, настораживает привилегиями, которыми пользуются старшие по возрасту парни, ставшие заводилами в компаниях пацанов – феодальчиками в раздробленной на мелкие княжества стране взрослеющего детства.

Избегаешь искать покровителя, и только любопытство – предтеча любознательности, подталкивает примкнуть к какой-нибудь группе школьников. Однако, получив их доверие и защиту, следует приспособиться и к порядкам, принятым в этом иерархическом сообществе: нужно как-то ужиться с нравами и правилами, порой идущими вразрез с твоими понятиями о товариществе, необходимо согласиться с развлечением, к которым не испытываешь никакого тяготения. И потому становишься придирчивым в выборе знакомств и не подобострастен перед крепкими кулаками – последовательно отстаиваешь статус независимости в школе, который поддерживается давней дружбой.

Не просто приятельские отношения, детская привязанность соединили двух ребят, родившихся в одну декаду и приподнявшихся над поверхностью земли в одном и том же дворе. Хотя уже перестали быть соседями, и волею судеб оказались жителями разных районов, друзья по-прежнему живут в одном полувымышленном-полуреальном мире. Их разделяют не только многокилометровые расстояния, но и роли, изначально предписанные родственниками и обстоятельствами. Один является предметом обожания бабушек, дядюшек, тетюшек и особенно деда, который вырастил трех сыновей, а на старости лет обрел всего лишь одного внука. Другой – никому не нужен, вследствие пьянства родителей, укорененных в криминальном прошлом, буйства безумного деда и откровенного хулиганства братьев, органично вписавшихся в жизнь уличной шпаны. Одному уже выписана груда рецептов для поведения, другой вынужден доверять только своему чутью. Несмотря на то, что они учатся в разных школах, система образования предельно стандартизирована и вызывает одинаковое неприятие у обоих друзей. Им интереснее проводить время вдвоем, а не старательно поглощать трудно усваиваемый экстракт или вернее отжим знаний, которым начинают головы учеников – свидетелей близящейся кончины тысячелетия. Насаждаемая школой мораль пытается вытравить у них собственные представления о добре и зле, и заменить эти представления наставлениями из разнообразных агиток, в которых воспеваются самоотверженные поступки пионеров, гибнущих в борьбе с классовыми врагами или с захватчиками-фашистами. О существовании этих нравственных установок, сызмальства предуготовливающих мальчишек к необходимости выполнить любые гибельные команды-поручения, исходящие от взрослых командиров, друзья ранее и не догадывались, и только интуиция заставляет их противиться этим установкам, столь старательно пестуемым системой школьного образования. Оба чувст-

вуют, что им «вправляют мозги», хотя еще не могут толком объяснить себе, что же им не нравится, потому что крайне далеки от понимания процессов оболванивания и обезличивания, доминирующих в обществе. Оба догадываются, что им необходимо вызубрить мудреную казуистику, разводящую всех людей, как и все события на «хорошие» и «плохие», а иначе оскорблено вознегодуют, во всеуслышание осудят школьные учителя и подвергнут хитроумным наказаниям, если заартачишься и откажешься поддакивать им и тем самым усомнишься в достоверности не тобой открытых истин. Ведь отвергаешь те истины не потому, что им противится инстинкт самосохранения или потому что они гасят в зародыше здравый смысл – обо всем этом в те годы и не задумываешься: просто не хочешь променять на те истины свои, еще более ущербные, шаткие, неприемлемые для жизни истины, но зато свои. Пробуют перемолоть и жернова родительского воспитания, благодаря которым постигаешь всю меру существующей социальной разделенности людей, и наперекор всем доводам любящих тебя взрослых отказываешься принять ту самую меру, как основополагающую в человеческих отношениях. Но трудно, почти невозможно противостоять работе сложнейшего сита, призванного отобрать и выделить из массы школьников способных, здоровых, покладистых и в то же время деятельных ребят и девочек, успехи которых всячески превозносятся, спекулируя на детском тщеславии. Сама жизнь этих чудо-октябрят и пионеров возводится в эталон, от которого ведется отсчет наличия у других учеников способностей и дарований.

С первых классов идет десятилетиями отлаженный процесс разделения школьников на туповатых и одаренных, трудолюбивых и ленивых, послушных и норовистых, и поверившие в свои неискоренимые изъяны дети добровольно идут в затхлые и смрадные катакомбы, где правит грубое насилие и откровенное скотство, где ужасы жизни становятся обыденными мелочами. Жизнь по-прежнему скупа для большинства... Но это уже вывод старшекласника, а пока еще льстят твоему самолюбию причисления к лику отличников и награды похвальными грамотами. Впрочем, пока еще и не покрылся коростой привычек, пока еще нет страха и перед ошибками, пока еще выбираешь себе *modus vivendi*, но и сама жизнь также присматривается к тебе, как к партнеру, или как к обузе, от которой следует поскорее избавиться.

* * *

Парк в кутерьме красок прошит пучками солнечных лучей: замело тропинки опавшими листьями: их толстый слой чешуйчато вспыхивает мимолетным блеском в самых неожиданных местах. За редующими кронами деревьев высится угрюмая громада вечно серого элеватора, а справа распахнулся кратер стадиона, остывший от клочкотания страстей футбольных болельщиков с соседних предприятий. Одинокое чернеет клумба, тщательно перекопанная чьими-то заботливыми руками: взрыхленная земля, пересыпанная редкими, неразбитыми комьями и случайно залетевшими на нее листьями, нежится под чуть-чуть разогревшимся солнцем. Листва образует затейливые узоры не только на клумбе, но и на больших лужах, которые уже не высохнут до зимы, исправно пополняемые нудными дождями, которые холоднее талой воды. На плечо незаметно ложится короткопалая, продолговатая пятерня дубового листа в светлых прожилках.

Оскудевающее тепло делает парк щедрым на поразительное разнообразие сочетаний оттенков, на внезапные переходы от блеклых к густым тонам, столь гармонично сочетающимся, что изъятие любого цвета обеднило бы пеструю палитру этого островка природы. Тепло еще не ушло до той степени, чтобы его перестало ощущать лицо. Почти незамутненное восходящими испарениями солнце согревает своими мягкими трепетными прикосновениями деревья, кусты и траву и те охотно покоряются усыпляющей магии этих прикосновений, доживая пору своего заката. Сонно шевелится оставшаяся на высоких ветвях листва, зачем-то продолжая прихорашиваться в преддверии тлена. Дремотно жужжит вспугнутая муха, лениво двигаются над желто-багряными кронами белые облака, рождая смутные воспоминания о прошлогодних сугробах... А худые руки беспокойно и сумбурно жестикулируют и звенят в прозрачной тишине молодые голоса. Медленно бредут по золотистой ряби две фигурки и разные по длине тени послушно следуют за ними по гаснущему на сырой земле пламени увядания.

Ушла пора кротких намерений, дерзкая мечта будоражит мысли и даже сдвоенное молчание звучит как содержательное продолжение излитых откровений. Не дают покоя прочитанные книги, и хочется превратиться в ветер, беспрепятственно бродяжничающий по морям и странам, хочется пройти безводные пустыни и увидеть миражи – удивительные грезы этих раскаленных солнцем сплошь песчаных или каменистых пространств, хочется исколесить весь белый свет, побывать у полюсов и прочесать непролазные джунгли. А еще хочется сколотить плот и плыть на нем по реке до самого устья, изображенного на географической карте, как развитая корневая система высокого, изогнутого дерева.

Уже давно нога ступила на заповедную крышу водонапорной башни, и удалось сплавить до пляжа, уже настолько знаком вид каждого дома на своей улице и каждого уголка этого парка, что неодолимо тянет оторваться от насиженных мест, стать скитальцем, с головой окунуться в жизнь, преисполненную опасностей и приключений. Все кажется достижимым, но чрезвычайно сложно определить: за что следует браться в первую очередь? Неясность намерений постоянно колеблет настроение, раскачивает его, как обычно случается в преддверии важного праздника, когда или испытываешь радостное возбуждение или насаждает вьедливая хандра.

Бредут две фигурки по опавшим листьям. Незаметно захватывает кружение жизни, которая обещает исполнение самых смелых чаяний, порожденных ею же самой. Она подобна опытной женщине, способной искусно разжечь желание у мужчины, чтобы затем после долгих ухаживаний, уговоров, капризничая, уступить ему, мнящему себя победителем в долгой борьбе.

* * *

Уже не отстраниться и не отмахнуться от тяги к многолюдным сборищам, где слух ловит голоса, говорящие на разных языках и диалектах, где приезжие не молчаливо-сосредоточенно или скучающе рассеянно созерцают чужие для них края, а стремятся всеми силами быть временными участниками здешней жизни. Нестихаемо день за днем коловращение толпы, втекающей и вытекающей из узких ворот рынка: пыль всех пятнадцати республик оседает на асфальт: растрескавшийся,

продавленный, в частых заплатах или в бугорках присохшей грязи. Сразу же за воротами начинается галерея нечетких, летучих ароматов, душистых или острых запахов. Природа, обремененная выращенным в ее лоне урожаем, выбросила на прилавки ворохи винограда, кучи помидоров, корзины грибов, пирамиды, сложенные из груш. За торговцами высятся горы арбузов и дынные холмы, источающие медоносный дурман. Целая гряда с покатыми склонами, пестро-тусклая от пыли, не расфасованная в мешки, целые отроги из лука, свеклы, моркови, картофеля, капусты виднеются вдаль и не верится, что покупатели когда-то растащат все это в своих сетках, сумках и рюкзаках.

Украшен рынок персиковым румянцем, темнеющим от грубых или неосторожно резких прикосновений, обласкан цветением георгинов и хризантем, над которыми упругими фонтанчиками высятся гладиолусы. Стихийно складывающаяся гамма красок цветочного ряда как бы противостоит здесь удовольствию чревоугодия и привлекает к себе со вкусом одетых мужчин и женщин, расчленяется на букеты, предназначенные для юбилеев и прочих праздничных торжеств. В людском бурлении снуют ветхозаветные старушки, покореженные временем и недугами. Они стоически сражаются за каждый медяк, приобретая дешевые овощи, и счастливо вздыхают, если им удастся сэкономить хоть грош. В любом уголке, изгибе базарных проходов, более запутанных, нежели сарайный лабиринт, дежурит какая-нибудь неожиданность. Где еще встретишь сразу так много необычных лиц. Вот взгляд прочно зацепился за кудрявую смоляную бороду, вплотную подступившую к крупному носу и черным южным глазам, горячим и беспокойным. «Откуда гранаты?» И вдруг в дремучих дебрях бороды появляется исток света. «Сухуми», – белозубо улыбаясь, отвечает владелец кожаных круглых сосудов, наполненных кисло-сладким рубиновым соком. А вот торчит из-за прилавка совершенно нагая, неровная голова в капельках пота: похожа на мокрый булыжник, обработанный многолетним упорством морского прибора. – «Откуда инжир?» – Голова изучающе оценивает пришельцев, разомкнувших цепь обычных взаимоотношений между покупателями и товародержателями, и затем презрительно фыркает: «Брысь отсюда, пострелы!»

Плоды Кавказа соревнуются в сладости с медом Украины, а овощи, привезенные из ближних сел и деревень, смотрят на фрукты, созревшие под неистовым среднеазиатским солнцем. Средоточие всего самого вкусного, яркого, ароматного олицетворяет собой базар, официально именуемый колхозным рынком. Здесь встречаются жители лесов и пустынь, степей и гор, самочинно ставшие делегатами на празднике урожая. Они собрались на этой площади как на Форуме, медлительные и бойкие, краснобаи и молчаливые, блондины или жгучие брюнеты или совсем лысые, молодые и пожилые, представляя богатства своего края.

– Откуда рыба?

– Астраханская, – звучит пропитой, надтреснувший голос краснорозей торговки.

– А как вы сюда добирались из Астрахани?

– Идите отсюда, нечего здесь попусту вертеться.

– И мы и не вертимся, а интересуемся.

Но женщина, разбухшая, как распаренное просовое зерно уже не видит и не слышит нас, а вся сосредоточилась на долгожданной встрече с разборчивым покупателем, вываливая на прилавок из просоленной сумки новую воблу.

– Тетя, а на чем вы вернетесь в Астрахань?

– Чего вам далась эта Астрахань? – сердится торговка, присовокупляя измятые рубли к пухлой пачке денег.

Сжимает сердца общая тайна, непроницаемы детские лица: никому нельзя проникнуть в суверенный мир, нет доступа любопытству посторонних к схороненным глубоко-глубоко мечтам о постройке плота, на котором предстоит покорение великих расстояний. Дух Марка Твена правит юными умами.

* * *

Рождает новые созвучия каждый воскресший из ночи день: к ним прислушиваешься то с тревогой, то с радостью, то беззаботно не замечаешь их. Сны полнятся безобидными или кошмарными видениями, отчего пунктирная линия жизни превращается в захватывающее воображение ленту, расцветченную всамделишными и фантастическими событиями. Мысли неустанно ткут грандиозные планы, переделывают прежние, которые еще вчера казались выверенными; мысли гибко подчиняются новой идее и незаметно направляют дни в узкое русло стремительных недель. А с неба падает, оседает на землю, смывая следы дождя вчерашнего, мелкий осенний дождь: окна домов – в непросыхающей осыпи капелек, сегодняшних и трехдневной давности. Монотонность ненастья лишь изредка нарушает оробевшее солнце, неуверенно выглядывающее из-за наслоений дородных и тяжелых туч. Солнце смахивает на медузу: студенисто-желтоватый круг, то тонет, то опять всплывает из облачной пучины. Истертый символ тепла, верховный жрец лета только раздражает своим бессилием перед пасмурным заслоном. Ненастье повсеместно дышит сыростью, мозглостью, увяданием. Роскошное убранство густых крон сменилось никлыми лохмотьями и жалким отрепьем, сквозь которые видны черные скелеты деревьев и приземленное, размокшее небо. Парк обнищал от опустошительных набегов порывистого ледяного ветра: вспархивают с веток последние листья, падают на тронутые тлением останки своих собратьев. Осень заметно урезала время света, который к тому же безнадежно застрял в хмурой мякоти туч. Тусклый рассвет не уничтожает, а всего лишь слегка теснит влажные сумерки, и даже полдень похож на канун вечера.

Загадочны мерцающие в измороси, потолстевшие огни фонарей, оцепившие вокзальную площадь: разметались по мокрому блестящему асфальту космы искусственного света, которые стелются по невидимым следам прошедших здесь тысяч ног. Спешат, торопятся люди попасть в далекие города, в жаркие пустыни, в бескрайнюю тайгу, в многошумные столицы, на теплые моря, на северные острова, замороженные до огнедышащих внутри земных глубин. Гигантская гидра железнодорожных путей с бессчетными отростками сжала равнины, врезалась в далекие горы, оплела замысловатой вязью крупные города. Многорукое детище прогресса отлично от реки, диктующей любым судам своими изгибами и отмелями направление движения. Благодаря железной дороге можно оказаться в любом краю: стоит только заполучить билет в овальном окошечке, чуть крупнее амбразуры. «Сколько стоит билет до Сухими?.. А до Астрахани?..» – немислимые, баснословные деньги тратят люди в обмен на эти бумажные прямоугольные пропуска в дальние дали.

Пробегают перед глазами, окутанные грохотом, как очереди трассирующих пуль, ярко освещенные окна вагонов, соединенные в длинную цепочку: за мутными окнами мелькают занавески, бутылки, термосы, лица. Нестихаема и несмолкаема вокзальная суэта, подчиняющаяся внезапным приливам и отливам. Над головой звучит механический голос диктора: невнятный и глухой из-за скверного качества громкоговорителя. Голос равнодушно называет города, откуда прибывают или куда отправляются поезда. Люди лениво, скучающе, а порой впопыхах огибают крохотный мальчишеский тандем, блуждающий в стекло-каменной громаде вокзала и движимый иными мыслями, чем у бывших или будущих пассажиров. Тонкие руки не отягощены поклажей, а головы заботами о пропитании и удобствах в дороге: двое мальчишек – всего лишь зрители, примеривающиеся к требованиям высоких скоростей, которые предложила вторая половина XX столетия. Невольные очевидцы встреч и расставаний, горестных и радостных, устало возвращаются вечером домой, и фонари, увеличенные хаотическим мельтешением дождинок, добродушно смотрят им в спины, как бы приглашая прийти сюда завтра и послезавтра. А где-то внутри уже бродит недовольство собой и безрезультатными хождениями по перронам, похожим то на улицу, застроенную однотипными домиками, то на пустырь, по которому ползут рельсы, точно то – черные, длинные змеи. И жизнь предстает разветвленным, но не имеющим выхода подземельем, состоящим из узких, как капилляры проходов, с осклизлыми стенами, в которых иногда попадают щелистые лазейки, но и то непременно с заостренными, режущими краями. А ноги то ударяются о каменные шипы, то соскальзывают в вымоины и ямки: приходится зачем-то подниматься по множеству истертых ступенек и почему-то опускаться по крутым тропам в никуда. Неясностью намерений помечен каждый прожитый день – точно бредешь по длинным темным коридорам и никак не поймешь: как же выбраться из этого лабиринта? Хочется пробить бреши в тупиках, чтобы состояться как полномочный в своих действиях и желаниях человек.

Без лишних сантиментов уценены все прежние реликвии и святыни до простых безделушек и даже до никчемного мусора. Выброшены пузырек из-под чернил, сделанный из прочного синего стекла, и деревянный меч с щитом, обитым гибкой жостью. И еще – ветка тополиного куста, растущего на водонапорной башне и плоский, в серых разводах камешек, добытый со дна реки. Целая вереница низложенных увлечений остается позади и даже презрительно отвергнута. А вновь обретенные цели нестойки, как запах одеколona, нечаянно пролитого на пол. Хочется каких-то решительных действий, но каких? Куда-то поехать... но куда? Давно пора начать жить так, чтобы дух захватывало. Но какова она – захватывающая жизнь? Голова гудит от вопросов, точно в нее вселился осиный рой и жужжит там. Безответны вопросы и неудобны. Они будто крючья, задевают на каждом шагу. И даже созвездие Большой Медведицы застыло в прояснившемся от первого морозца небе вопросительным знаком. Чем заняться? На кого походить? Чьей уподобиться тени? Ведь нужен какой-то ориентир, чей-то лучистый взгляд, указующий путь в будущее. Не очерчены расплывчатые желания, тянущиеся к беспредельности, неудобна для хлипких плеч их тяжелая ноша. Жизнь вроде бы доброжелательна, отзывчива и настежь распахивает двери, но в них видны только голые стены – обшарпанные и неприглядные. А за теми стенами скрываются залы с непритязательной или изысканной

обстановкой, где обитают смелые, дерзкие люди, умеющие добиваться своего. Это они лукаво или интригующе взирают с киноафиш, с обложек иллюстрированных журналов, с экранов телевизоров.

Неуютно на улице проходчикам в неведомые миры. Подстерегает на перекрестках колючий ветер. Опять на небе ни искорки света. Бьют в лицо сжатые морозом до мелких матово-белых гранул позавчерашние дождевики. Теплом, конюшной, пудрой, опилками веет от фойе цирка, и озябшие до онемения руки тянутся к вертикальным решеткам, откуда вырывается в студеной город воздух, разгоряченный от долгих плутаний по многочисленным помещениям, накрытым серебристо-чешуйчатый куполом. Взгляд натывается на морщинистую стену занавеса, пытается проникнуть сквозь эту медленно колыхающуюся матерчатую преграду, заранее преисполненный восторга.

* * *

Сопровождаемый бравурными аккордами, всегда торжествен и красив выход на круглую арену артистов в блестящих трико и сверкающих сапогах, в сияющих шлемах или с великолепными плюмажами на головах. Они виртуозно управляют булавами и страшными хищниками, без остатка завладевая вниманием притихшего амфитеатра слаженностью и отточенностью своих выверенных действий. Кувыркаются в воздухе натренированные атлеты: их тела – твердый камень, молниеносно раскатывающийся в тугую стрелу, но через миг колени снова подтянуты к груди и широкие спины в панцире из мускулов сменяются курчавыми головами, крепкими руками, обнимающими ноги. Катятся по арене плотно сбитые комки человеческих тел, разбрасываемые кряжистым, седоватым предводителем группы акробатов. Точно рассчитан каждый рывок и каждый шаг, заранее определена каждая точка падения: ведь малейшая оплошность созвучна с несчастьем. Мерцают блестки на ярких костюмах и капли пота на мужественных лицах и неизменна сверкающая улыбка после блистательно выполненного сложнейшего курбета.

Умело лгут руки мага, превращая в прах цветок, они загадочно священнодействуют над огнем, из трепещущих лепестков которого воскрешается загубленное растение. Чудодейственным образом из неровных мятых лоскутов получается прочная полоса ткани. Рождаются голуби из пустоты картонных коробок. Распиленная женщина, останки которой траурно увозят на двух тележках, через несколько секунд вновь появляется на арене, как и прежде стройная, обворожительная, пленяющая грацией своих плавных телодвижений. Она вызывает бурные аплодисменты у публики, благодарной фокуснику за то, что осталось невредимым большею частью создание, вышагивающее в коротенькой юбочке по мягкому ковру. В волшебном круге арены идет калейдоскоп неожиданностей, поразительных превращений, исчезновений, которые легко вершит несколько чопорный, облаченный в строгий черный фрак, сухощавый кудесник, непринужденно и убедительно показывая, что невозможное все же возможно.

Глаза опять неотрывно следят за ареной, теперь занятой юношей, почти ровесником, выполняющем комбинации двойных сальто на пружинящем батуте. А вскоре ловкий паренек уже оказался под куполом цирка: столкнулись в одной подвижной точке встречные потоки света множества прожекторов, образуя сияющий пояс, которым изнутри

перехвачено все здание. Раздается тревожная барабанная дробь из оркестровой ложи, перекликаясь с учащенным стуком сердца. Юный артист замер над ареной, как над хищно раскрытой пастью, готовой сотрясти, переломать и поглотить безупречно сложенное тело. Но исполнитель опасного номера не беспомощно падает в рукотворную пропасть, а оторвавшись от металлического стержня, свободно парит на головокружительной высоте в полярных подкупольных широтах, соизмеряя свои усилия, чтобы достичь спасительной планки качелей, посланных навстречу человеку-птице его внимательным партнером. И щедр был на радость тот миг, когда руки смельчака схватили ту планку, послужившую настоящей палочкой-выручалочкой.

Горят ладони от рукоплесканий, гремят салютом аплодисменты молодому мастеру, а в памяти остается его образ, но не в качестве копии увиденного или фотографического снимка, а еще более пышно разубранный и помещенный в хрустальный дворец воображения, где живут благородные и отважные герои. Хочется стать таким же храбрым и бесстрашно рисковать, убедительно спорить с различными опасностями – быть полновластным хозяином своих рук и ног, ставшими заметно неуклюжими, угловатыми, неприглядно худыми, еще не привыкшими к самим себе, разительно выросшими за последний год. А рядом сидит еще более вытянувшийся как картофельный росток мальчишка с бледным лицом, тоже беспомощный и несобранный по сравнению с этими мощными, энергичными виртуозами своего дела, избравшими подвижность, как единственно достойный человека путь. Вот это судьба! – Ей нельзя не завидовать, ее невозможно не желать, ее необходимо добиться, пусть неустанным, каторжным трудом. Цирковая жизнь – не вымысел, вскормленный приключенческими романами: это маяк, который спасет от бурь, бушующих в груди, это – путеводная звезда. Мифически совершенные атлеты, могущественные чародеи, которым подвластно преобразование вещей, дрессировщики, умеющие укрощать звериный нрав грозных хищников, джигиты на тонконогих скакунах, красноносые клоуны в мешковатых портках и нелепо огромных кепках, прощаются под меланхоличную музыку оркестра, нагнетающую грусть от предстоящего расставания со сказочной феерией. Привыкшие к мальчишескому восхищению и поклонению циркачи одинаково улыбаются, кланяются, горделиво разгибаются, величество отводят правые руки в стороны и пропадают за тяжелым занавесом. И вот уже приглушены огни, пустеют концентрически ширящиеся ряды современного Колизея, а за дверьми ждет мрак позднего вечера, прорезанный редким светом озябших уличных фонарей.

* * *

Неужели совсем незаметно произошло столько упущений, что теперь уже никогда не догнать тех ловких парней, которые, взрослея, становятся виртуозами в своем деле и даже прославленными мастерами, а их точеные силуэты запечатлеваются на афишах, размеры которых под стать киноэкрану? Неужели никогда не удастся покорить невозможное, а придется коряво расписаться в своей беспомощности, признать свою безымянность и никчемность и просуществовать будним мгновением в истории человечества? Или еще не поздно начать и вовремя произошел сдвиг, а вернее раздвоение, позволившее увидеть самого себя жалким и худосочным подростком, мало к чему пригодным. Какое же ждет

поприще в надвигающемся будущем? В чем заключено таинственное и загадочное призвание? Как его обнаружить и понять, зачем рожден? Привилегирован ли природой, как те замечательные артисты, творящие подлинное волшебство в магическом круге цирковой арены? — Снова вопросы сплоченными шеренгами идут в наступление, колют и уязвляют, толкают или гонят к той незримой меже, которая ограничивает пределы страны детства. Нельзя же пожизненно пребывать в той стране, но в какую сторону направить свои ноги?

Странное это время, тревожное, вспыльчивое или тягостное, как затяжное ненастье, сумбурное и мятежное, преисполненное необъяснимых сумасбродств и скоропалительных действий: оно густо прошито то неуверенностью в себе, то безудержным самомнением. В то пору в человеке уживаются работяга и лентяй, гений и глупец, честный и лжец, храбрец и трус: всевозможные свойства теснятся в одной и той же душе и сражаются не на живот, а на смерть, чтобы осталось всего лишь несколько из них, наиболее жизнестойких.

Детство — это радужный и беспокойный сон, прорицающий грядущее, это тысячи еще не потерянных шансов на счастье и на самую сногшибательную удачу; это и блаженство неведения, и цепкие первобытные страхи. И в какой-то год, а то и день, вдруг начинает возникать прозрачная, неудержимо растущая, коварная и труднопреодолимая стена, через которую необходимо перелезть, дабы на остаться замурованным в уже прожитом времени. Обнаруживается острая грань, которая разъединяет чувства и мысли, фантазии и действительность, но эта грань еще не утвердилась и не упрочилась, и потому стоишь на краях прогала: одной ногой — на землях столь хорошо знакомого и привычного детства, а другой ногой пробуешь ступить на территорию какой-то иной жизни, манящей к себе и в то же время неведомой. Понимаешь, что каким-то непостижимым образом изменился по отношению к окружающему миру, а тот, в свою очередь, изменился по отношению к тебе. И мучают напирющие вопросы, цепляются и царапаются, подобно ржавым гвоздям, которых полным-полно в покинутом сарайном лабиринте. Крючки безответных вопросов стараются заключить твой микромирок в плохонькие и кривые скобки, а без ограды этих шатких и порой невыносимо противных скобок вряд ли прорастут ростки индивидуализации или начатки каких-то особенностей, а будет всего лишь пустое место. Но выводы, к которым приходишь с превеликим трудом, черед ушибы и не менее болезненные разочарования, почему-то со временем кажутся смешными или нелепыми и поспешно заменяются другими, которые, увы, также будут стерты течением дней и недель. Счастливый в первоначальный миг исполнения какой-то затеи, вскоре становишься неудовлетворенным достигнутым результатом: уже не пригубляешь, а пьешь судорожными глотками горечь промахов и неудач. Постоянно преследует смутное подозрение, что оказался в некоем тупике, и каждая новая мысль воспринимается в качестве многообещающего решения или в качестве заветного выхода из тупика, но эта же мысль быстро становится то ли острым инструментом в неумелых руках то ли ядовитым раствором, отравляющим каждый прожитый день. Как холод от промозглого утра пробирает сквозь одежду до костей, так и растерянность проникает душу: слишком много перед глазами мелькает событий, разночтимых и сложных для истолкования. Но в сомнениях, которые, по существу ничего не утверждают и ничего не отрицают, все же присутствует толика надежды на исход из тупика:

эта слабая надежда противостоит растерянности, за которой прячется скептицизм, норовящий удушить любую дерзкую мысль и любое смелое желание. Но надежда, малая или большая, крайне важна: она подобна первой звездочке в наступающей ночи, под светом которой кощунственно думать о смерти, гарантирующей всего лишь непроницаемый, вечный мрак. Ведь расцветают не для того, чтобы увянуть, и рождаются не затем, чтобы бесследно исчезнуть. Но тогда зачем? – Снова вопросы преследуют, как наваждение, как кара разбуженного рассудка. И хочется отмахнуться от назойливого окружения этих вопросов, но чутье – посланец древнейшего инстинкта предостерегает: «Не делай этого опрометчивого шага».

Стоят ноги на ломких краях расщелины, отделяющей мечтательность от практического делания и страшно заглянуть в эту расщелину, вклинившуюся в поверхность жизни. Складывающаяся упорядоченность воззрений, предпочтений и пристрастий борется со вздорными увлечениями и совершенно абсурдными замыслами. Поиски давно открытых людьми истин вязнут в пустопорожних изречениях собственного изготовления. И не одна из противоборствующих сторон никак не может восторжествовать и объявить окончательную победу – просто не успевает сделать это.

Некая сила заставляет постоянно мечтать: необузданно, увлеченно, вдохновенно. Что-то непременно мешает осуществлению задуманного: обязательно возникает какое-то препятствие, разрушающее все планы. И в тугом узле противоречивых догадок крепнет подозрение, что живешь не так, как надо бы жить, живешь всего лишь так, как умеешь, и как получается. А с другой стороны, еще ничего толком и не умеешь делать, вот потому и ничего не получается. Это подозрение подобно перышку жар-птицы, упавшему на грудку влажного хвороста и затерявшемуся там: огонь никак не может выбраться наружу и только едкий дым сочится из сплетения ветвей, предупреждая о пламени и пока прикрывая его. Но как же жить, чтобы все получалось? Что нужно для этого уметь? Что ты есть сам по себе, не защищенный родительской опекой? – Снова вопросы, неотвязные и настырные преследуют злорадной гурьбой. И пугает расщелина, над которой стоишь, и нет еще решимости встать на другой мало знакомый ее край обеими ногами.

* * *

Продолговатое зеркало платяного шкафа полузаполнено отражением обнаженной по пояс мальчишеской фигурки: под кожей рук неясно прослеживаются зародыши мышц, острые плечи вздернуты вверх, а на боках отчетливо проступают дужки ребер. Зеркало – беспристрастный фотограф или своеобразное внутренне окно комнаты смотрит краем письменного стола, ящики которого нашпигованы школьными учебниками и пухлыми тетрадками, а поверхность стола завалена пособиями по культуризму и закаливанию организма. В углу, на стене прищиплена обложка иллюстрированного журнала, на которой изображен известный американский актер в роли Геракла.

Руки неохотно привыкают к весомости гантелей, а тело – к трудностям выполнения комплекса упражнений, после которых, уже ближе к вечеру ломит спину, плечи, ноги, будто получил прививку от тяжелой инфекционной болезни и теперь приходится переносить действие

заразы. Добровольно соблюдаешь строгий режим дня, педантично следуешь всем предписаниям и рекомендациям пособий по совершенствованию тела, утомляешься от перегрузок, порой доводишь себя до изнеможения. Но в минуты отдыха порой видишь свои ноги, оплетенные бугристыми мускулами и грудь, волнистую от перекатов развитых мышц, и плечи, обретшие заметную крутизну... И вдруг ловишь себя на том, что смотришь не на собственное отражение в зеркале, а на фотографию загорелого Стива Ривза. Она – немой укор мальчишеской немощи и угловатости, и в то же время икона, властно притягивающая к себе не только взгляд, но и помыслы. На пути самосовершенствования своей фигуры уже не остается времени для игр и прочих развлечений. Весь день, с момента пробуждения и до часа, когда нужно отходить ко сну, расписан по пунктам в соответствии с пособиями по туризму.

В пленке пота грудь, спина, и мерещится, что кожа совсем не дышит, герметизированная этой влажно-соленой оболочкой, а воздух лишь огибает губы, избегая их горячих прикосновений. Уже нет сил сопротивляться грузу металлических шуток, с инквизиторской изощренностью выжимающих все жизненные соки. Похрустывают суставы, выходит из повиновения мимика лица, взбухают вены на предплечьях и икрах ног. Терпеливо держит шею возложенное на нее бремя, тихо скрипит дощатый пол под тонким зеленоватым ковром: то сжимается в комок при приседании, то распрямляется в свой невеликий рост обнаженная по пояс костлявая мальчишеская фигурка. А в раскрытую форточку залетают ошалелые, закружившиеся снежинки: хлещет по оконному стеклу бесноватая вьюга, сшивая на земле в единое полотнище белые лоскутья снега. Холодом веет от распахнутой форточки, в однообразные капельки превращаются снежинки на подоконнике. Кажется, что подоконник тоже вспотел, но не от упражнений, а от борьбы с прошедшей зимой.

Однако дыхание стужи для разгоряченного тела почти незаметно. Висит как бомба над выпяченной грудью тяжеленная, округлая гиря и в следующий миг, подчиняясь усилиям рук, плавно спускается вниз, на пол, чтобы опять тотчас стремительно взметнуться вверх. Пламенеют щеки от переизбытка румянца, и не верится в то, что год назад закралась в растущий организм болезнь, не раз меняющая свои симптомы, чтобы в конце концов укрыться в сердце. Пусть ко всем чертям убираются все болезни! Приятно жить, когда с каждым днем ощущаешь приток свежих сил, пусть и проявляющийся не сразу, а по прошествии череды недель, помеченных целеустремленными стараниями.

* * *

Разодран ветром облачный свод, сквозь прорехи сквозит синее небо, студеное и далекое. Скачут, текут, скользят невероятные огоньки по снегу, слепят глаза пучки лучистых вспышек, которые поодаль сливаются в единый отблеск. Не греет, давно остыло светило, щедро осыпающее дома, автомобили и замершие лужи бликами. Быстро сворачивается зимний день, точно горящая холодным пламенем белая бумага скручивается в черный свиток. Леденит руки и подбородок мороз... А может, озноб и не от стужи, а от мысли от непредвиденных столкновений на улице? Невольно сокращаются шаги, урезается их размах до коротеньких женских шажков или даже до еще более мелких, какие

много лет спустя доведется заметить у шаркунов, обитающих в предкабинетных приемных, у бесхребетных лизоблюдов, поджидающих появления начальства. С головы до пят окатывает нервная дрожь при случайной встрече с мрачной компанией парней, живущих на улице, пролегающей вдоль колхозного рынка. Они лениво бредут в чернильных сумерках бесформенной колыхающейся массой: отливают ртутью их наглые глаза, а рты обязательно вооружены дымящимися сигаретами. Их руки упрятаны в карманы, предохраняющие заточки или всего лишь коробки спичек или пустоту. Никогда не поймешь, что на уме у этих слоняющихся парней – любителей сквернословия, спиртного и драк. Обиходный язык в их кругу недопустим, но в угрюмом молчании они неизмеримо страшнее, потому что их безмолвие никогда не вызвано восхищением, изумлением, затаенным любопытством или какими-то иными сильными чувствами, заставляющими человека забыть о членораздельной речи. Только жгучая злость, только колкая угроза звучат в их немоте, которая и образует вокруг опасной компании мертвую зону, и ту аккуратно, старательно не нарушая ее границ, обходят даже взрослые и особенно девушки. Каждый из этих парней отнюдь не наделен выдающейся физической силой, наоборот, на их испитых, серых лицах уже проступили приметы близкого распада – и одинокий он выглядит всего лишь щуплым сорванцом, которому грозит град подзатыльников или набор пинков за его бесцеремонное, вызывающее поведение. Но эти парни всегда гуртуются вместе, спаянные обделенностью родительской опеки и той навсегда запоминающейся жалостью, слезливым сочувствием, которые они, вечно грязные, голодные оборвыши, сызмальства вызывали у сердобольных прохожих. Эти потомственные обитатели трущоб с первого часа своего рождения вдыхали неистребимый вековой смрад подвалов и пыль чердаков и жалко ежились от грохота скандалов, рева пьяных отцов и громогласных причитаний избитых матерей. Они произросли на тротуарах, загаженных плевками и замусоренных окурками сигарет и папирос, привезенных со всех пятнадцати республик необъятной страны. Они никогда не знают поражений в уличных битвах, жестоко вымещая на первом встречном свои подспудные бесчисленные обиды. Они спаяны ненавистью ко всему роду человеческому и выпячивают свою обособленность самыми тривиальными радостями. Они хотят видеть в глазах прохожих не соболезнование, а боязнь перед их соединенной силой или страх перед их отчаянной дерзостью. Они требуют своего признания, претендуют на то, чтобы их заблаговременно обходили стороной, чтобы их опасались, как несчастного случая, пусть ненавидя, трепеща и содрогаясь от их хулиганских выходок. Они яростно противятся уготованному им скорому забвению и стремятся прославиться жестокостями, потасовками, бойцовскими рейдами по улицам, примыкающим к реке. Они восполняют сплошные пробелы в своем воспитании с помощью заимствований из поведения старших братьев и корешков, уже отмотавших срок в колонии, при этом тщатся перенять тот лоск и шик, неотъемлемые для всех лихих и «бессмертных» из-за своей неуязвимости героев приключенческих фильмов – от того пестро и модно одеты. Они опасны потому, что совсем не ценят свою жизнь и парализуют мальчишеские забавы, стоит им только появиться в парке. Они не столько парни, сколько парии, но стремятся выглядеть «королями» или «kozyрными валетами» в стране взрослеющего детства. Они проходят мимо, как жуткое насекомое, многорукое, многоногое, прячущее в себе смертоносные жала.

Они алчно высасывают из любого человека его хорошее расположение духа, его радость и веселость: они щедро делятся со всеми своей угрюмостью и озлобленностью. Трудно, почти невозможно стряхнуть с себя оцепенение при их приближении и хочется, презирая себя за это желание, при их приближении стать крошечным, незаметным, бесцветным существом, дабы не зацепил взгляд этого жуткого насекомого и не задела его клешня. Дабы оно не плеснуло в лицо оскорбление, на которое не сможешь ответить, и затем будешь казнить себя за это бессилие, а мерзкое насекомое неспешно уползет дальше, уверенное в своей неуязвимости и неукротимости.

Зябко в этом сумрачном мире, стынет от озноба спина, немеют ноги, сжимается кровь в тяжелый сгусток где-то возле сердца, и ненавидишь себя за перенесенный испуг и с сомнением на лице ошупываешь свои вроде бы увеличившиеся бицепсы, и опять кавалькада вопросов несется на тебя. Уже давно стало известно, что на плоту не доплывешь даже до моста, потому что немедленно будешь задержан речной милицией, а родителей оштрафуют на приличную сумму. Выяснена и неприподъемная цена билетов на Кавказ или в Среднюю Азию. И пришла пора признаться себе, что никогда не достигнешь той атлетической мощи, которая бы позволила изгнать с улиц многоруких насекомых, вселяющих ужас в каждого подростка одним только своим появлением. Никогда не суждено и обрести то бесстрашие, ту ловкость, которые отличают цирковых артистов – ловких акробатов, чародеев и повелителей диких зверей. Уже довелось побывать на крутом, противоположном берегу реки и обнаружить в ясный погожий день, что столько лет жил под лилово-серым сводом, растворение которого в небесной лазури идет медленнее неутомимой работы заводских труб, которыми густо истыкан родной район. Дым в тот день поднимался вверх толстыми столбами, постепенно утончающимися на высоте. Они чем-то напоминали пышнокудрых атлантов, вернувшихся из далекой старины, чтобы поддержать отяжелевший и ставший двухслойным небосвод.

* * *

Но мечты очень живучи: их не задушить выхлопными газами и не заморить унылой сменой дней. Зажигает мысли новая смелая затея. Великая затея! И мнится двум подросткам, что сияние исходит из глаз, устремленных к вечернему небу, сияние, спорящее яркостью со встречным звездным светом. Разматывается клубок фантазий, лихорадочное возбуждение выплескивает румянец на щеки. Странные, неземные образы рисуют в воздухе руки, растолстевшие от шерстяных варежек. Идет жаркий разговор о драматичных судьбах других галактик. Воображение высветляет запутанные отношения и тяжбы между древними, бесконечно далекими отсюда цивилизациями: деловито снуют ракеты между соседними звездами и ждут приключений отважные астронавты, уже получившие свои замысловатые имена. Пунктиром реплик вычерчивается сюжет, призванный впоследствии превратиться в скелет романа, обрасти описаниями встреч, расставаний и тягот на извилистом пути героев, о которых нельзя будет читать без учащенного сердцебиения. Разумеется, в повествовании должны присутствовать радостные и трагические кульминации: ненасытные силы тьмы подстраивают астронавтам хитроумные ловушки и коварные западни,

но в космосе присутствует и таинственное оптимистическое начало, которое неизменно будет вызволять героев из всех передряг.

Припасены тетради для записей, две пары глаз впились друг в друга иглами-взглядами в самые зрачки, точно эти черные точки вобрали в себя целое мироздание, которое и нужно рассмотреть во всех мельчайших подробностях. Лица сосредоточены, руки напряжены... Кто бы мог подумать еще пару дней тому назад, что сейчас будет начата книга, способная потрясти все человечество. Однако момент бездействия затягивается до минуты, перерастает в другую, затем уже в пятую минуту, томительную и бесплодную. Теплятся смущенные улыбки: необходимо написать хоть строчку, выдать из себя самое начало, и тогда уже смело можно будет шагнуть по пути создания шедевра. Выспренно торжественные слова никак не могут соединиться даже в куцые предложения. Неужели это происходит от того, что чрезвычайно трудно проникнуть в загадочные дали окраинных миров, постижение которых предстоит в ходе работы над задуманной книгой?

И вот упало на девственно чистую страницу, разлинованную в синюю клетку, несколько слов, сцепленных в одно предложение. Началось сочинение, освобожденное от болезненного противоборства замысла и его воплощения: порывистое продвижение в неизведанное, лишенное всяческих ориентиров. На первых же страницах резко пошло на убыль число несуществующих, а вернее, неоткрытых людьми галактик, где, по первоначальным задумкам, и предстояло скитаться астронавтам. Немногим позже пришли к решению ограничить ареал полетов одной солнечной системой, на границе которой дотошные ученые в телескопы обнаружили наличие неизвестной планеты. Именно на ту планету и высадились астронавты, чтобы сразу же вступить в бой с лживо-безобидными, а на самом деле плотоядными растениями. За чащобами этих опасных растений героев поджидали гигантские многоглазые чудовища, враждебно настроенные к двуногим пришельцам. И снова бурлило сражение, принуждающее астронавтов применять все виды вооружений, придуманных на Земле. Но победа, одержанная и над чудовищами, означала лишь продолжение нелегких испытаний для исследователей тайн солнечной системы. На них обрушивались пыльные бури, и реки лавы, извергающиеся из огнедышащих вулканов, старались захватить героев в свои испепеляющие объятия. На отважных первопроходцев нападали птицы с железными когтями и клювами и огромные осы со смертоносными жалами. Одолев и эти силы тьмы, астронавты поплыли на крошечном плоту по кипящему морю-океану, стараясь уйти от преследований километровой удава. Наконец им удалось найти тихую гавань и спрятаться в гроте, но и тот оказался со сдвигающимися стенами, грозящими расплющить пришельцев-землян. Благополучно выбравшись из этой западни, герои романа устремились дальше, одержимые какой-то странной идеей. Но какой?

Постоянно ускользал стержень повествования, на который можно было бы нанизывать фразы, события, открытия: ускользал до тех пор, пока не пришлось убедиться, что он совсем исчез, а точнее, его и не было совсем. Просто изначально предполагалось, что он есть (необходимо исследовать новую планету). Но зачем? Для чего? Чтобы удовлетворить любознательность землян? Из-за этих неудобных вопросов слова отказывались слагаться в предложения, откровенно увиливали от того, чтобы идти в те места, где они были нужнее всего, и оказывались

никчемными там, где еще вчера выглядели вполне уместными и даже необходимыми. Эти верткие слова усилиями воли приколачивались одно к другому, как неровные доски для шаткого временного забора. Некоторые абзацы сшивались из предложений, выкроенных из последних прочитанных книг: от чего получалась удручающая мешанина стилей, господствовавших в литературе последние два столетия. Подчиняясь строю суждений понравившегося писателя, самозабвенно и упорно шли проторенными путями, чувствовали себя первопроходцами, но спотыкались на каждом шагу, невольно противоречили тому, о чем написали на предыдущих страницах и только раздражались от предчувствия неминуемого провала и этой затеи.

Зимние дни стали мучительно тягостны и переходили в нескончаемые вечера, будто идущие вспять от того часа, когда можно было сказать друг другу, что пора расходиться по домам. Упражнения с гирями и гантелями превратились в удобную уловку, позволяющую под благовидным предлогом уклониться от корпения над романом, который развивался отнюдь не подобно деревцу, посаженному во взрыхленную, удобренную почву, а скорее напоминал шершавую палку, кое-как воткнутую в расщелину между камней: не было ни корней, способных к добыванию живительных соков, ни кроны, осененной светом вдохновения. Астронавты безоглядно мчались в горнило бурь и прочих катаклизмов вселенского масштаба, но исключительно трудно было извлекать оттуда храбрецов живыми, невредимыми и готовыми на новые подвиги. Чудовища обрастали таким обилием свойств, что ни в одной ситуации не могли в полной мере проявить свои разрушительные способности. Виды растений на планете множилось, группировались, преимущественно входили в разряд смертельно ядовитых для человека, не защищенного скафандром... И терпеливо ждали подходящего момента, дабы выказать свои опасные возможности в ситуациях, которые почему-то никак не наступали. Каждый день совместных писательских усилий над рукописью только приращивал новые разочарования вследствие невольных, зачастую безмолвных признаний самому себе в том, что мысли расплывчаты, суждения приблизительны, а знания о любом описываемом явлении мизерны или лоскутны: отсутствует та завидная ловкость иллюзиониста, умеющего на глазах изумленной публики молниеносно из обрывков ткани создавать целую нетронутую ленту.

В тот памятный день свирепствовала стужа, и руки быстро окоченели даже в шерстяных коконах варежек. И лицо точно отслоилось, подобно плохо приклеенной неподвижной маске. Только ноздри курились слабым парком. Мерещилось, что и само небо затвердело, превратилось в матово-голубой лед: целый ледник напоз на землю многокилометровой толщиной, а врезавшиеся в нее, изогнутые, точно сведенные судорогой, ветви деревьев выглядели темными трещинами в том леднике. Холодно в парке. В жесткие кандалы заключено всякое движение, рост, развитие. Парк застыл, как черно-белый графический рисунок, небрежно набросанный на огромном полотне рукой злого гения. Солнце, не решаясь далеко оторваться от смазанной линии горизонта, тускло светило, кутаясь в полупрозрачную мерцающую шаль морозной дымки. Стоит только придвинуться ранним сумеркам, и оно тотчас скатится с небосклона, канет в напоззающий мрак, как в камеру заключенный, которому лишь на короткое время позволено выходить на прогулку по тесному тюремному двору.

Зябко в стылом мире птенцам, еще не обретшим густого оперения: обиды и неудачи жалят их самолюбие, и в обе головы закралась одна и та же мысль о том, что и в будущем поджидают только провалы, что наступило время зла. Снег, задушивший траву, кустарник, деревья, не растает грядущей весной, а обернется солью, и та разъест страшными язвами поляны, лужайки, погубит все клумбы, заморит птиц, и ни одна былинка не пробьется сквозь тяжелый, мертвенный саван и не увидит ни света, ни тепла. Летит в сугроб коричневая тетрадка, вобравшая в себя плеяду не оживших на ее клетчатых страницах героев, вонзается прямоугольной плиткой в зимний нарост на земле, погружается в его вымороженные недра: лишь острый уголок остается торчать на фоне стерильной безжизненной белизны жалким обломком непосильного и безрезультатного труда.

Из-за снежных холмиков выглядывают кладбищенскими крестами елочки-первогодки, будущее парка. И режет глаза очевидный контраст между юностью этих деревцев-младенцев и тем символом, ассоциации о котором они же и вызывают. Долго и пристально вглядываются два подростка в зыбящуюся сугробами поляну, ибо почудилось им в последний час карликового январского дня, что вся она покрыта могильниками, которые стерлись под натиском отгремевших революционных бурь, но вот, сейчас, опять забугрились, напоминая о прошлом парка. Притихли даже сердца, чтобы не потревожить устоявшейся тишины, не нарушаемой ни шелестом листьев, ни пением птиц, ни детскими криками. Вкрадчиво скрипит под ногами снег – рассыпчатый, иссушенный лютой стужей. Сковывающее безмолвие парка давит, как тяжелая и неудобная ноша, пригнетает вниз, вдавливая голову в плечи, норовит всего сгорбить или даже переломить пополам. Но в каком-то дальнем уголке души зарождается сопротивление этому сковывающему гнету: разрастается возмущение, как стихия пожара, распаливая глаза гневом.

Мнили себя такими особенными, даже исключительными, предпочитали жить только своим умом, ни на кого не оглядываясь: хотели прослыть своими выдающимися делами и свершениями, ни на кого не опираясь; видели себя соратниками, для которых нет непреодолимых преград, а выходит – ничего не можем и ни на что не способны. Стремилась к тому, чтобы поскорее стать полноправными людьми, а не быть рабами обстоятельств, безвольно отдавшись бессмысленной смене лет. Так что же предпринять? Как вырваться из этого заколдованного круга, где жизнь превращается в прозябание? Неужели следует уподобиться тем прилизанным и примерным однокашникам, для которых самые невинные проказы выглядят кошмарными преступлениями? Но тогда придется согласиться с мнением наставников, что добродетели и достоинства твоего друга в лучшем случае сомнительны и уступают многочисленным недостаткам. Тогда придется впустить в себя все родительские страхи, связанные с будущим единственного чада и научиться соизмерять людей по достигнутому ими положению в обществе – придется смириться со всем тем, от чего раньше только отмахивался, как от никчемных пустяков. Следует признать как неизбежность то, что с тобой и в дальнейшем будут разговаривать назидательно-повелительным тоном и воспринимать, как мальчишку, изобретательного только на шалости. Но что же делать в обратном случае? Где же он – свой путь? Где та тропа, на которой тебя станут воспринимать как человека, много повидавшего, испытавшего и умудренного богатым житейским опытом?

Пожалуй, нет более трудных лет, чем годы так называемого переходного возраста – первая затяжная зима со взбалмошными метелями и жестокими морозами в жизни человека. Она начинается исподволь, как пора скверного настроения или с череды неожиданных всплесков эмоций, ее не сразу распознаешь в чередке неудачных или бестолково прошедших дней, а понимаешь, что ступил в ее пределы, уже тогда, когда она со всех сторон окружила ложными приманками. Думаешь, что быстро шагаешь по свежему снегу, а оказывается, что под снегом – большая замерзшая лужа и ноги разъезжаются во все стороны, и вот-вот грохнешься со всего размаху об лед. Кажется, что все взрослые стали врагами и норовят ущемить тебя во всех правах, лишити всякой самостоятельности, превратить в марионетку. Переходный возраст – это некая дистанция во времени без каких-то определенных границ и внятных обозначений: эту дистанцию не перескочишь в несколько прыжков, ее можно только преодолеть, медленно вытягивая себя из состояния беспомощности, растерянности и бессильного гнева, как из трясины. Смутно догадываешься, что бездействовать никак нельзя, но что понимать под действием? Эта пора сродни беспокойному кошмарному сну, когда живешь шиворот-навыворот, когда беспощадность воспринимаешь за проявления мужества, хлыщеватость – за элегантность, вычурность – за изящество, а грубость – за признак независимости. Само время подсылает подростку разные перевертыши, внушает нелепые прожекты, смеется и куражится над пареньком, который отчаянно барахтается в высоких волнах, настигнутый приливом новых желаний. Он истово устремляется за обретением эфемерных ценностей и становится то заносчивым, то надменным, обороняя этим свою легкоранимую душу от колких замечаний. Переходный возраст – это время крушения многих драгоценно сверкающих воздушных замков. От праха фантазий горчит сам воздух, ко всему возникает недоверие. И вот уже зреют, наливаясь желчным соком, плоды всеобщего отрицания. Чувство безысходности напитывает собой каждую клетку юного тела. Ты еще наг и безлик – не имеешь ни своего пиджака, ни своих мыслей, ни вкуса – все это где-то позаимствовано, кем-то подарено, привито. Только дружба вот уже на протяжении стольких лет остается сугубо твоим единственным обретением. Она стоит особняком, выделяется из отношений со всеми прочими людьми: готова выдержать любое давление родительского и школьного воспитания и налаживает тот перекидной мостик через расщелину, что отделяет детство от юности. Странное, переломное, незабываемое время, время расцвета воображения, неизбежной эмиграции в вымышленные миры: происходит открытие необозримости будущего и обнаружение у себя давно и кропотливо работающей памяти, к которой все чаще прибегаешь, оставаясь наедине с собой. И еще правит поступками, не поддающееся никаким объяснениям, стремление быть не столько собой, а кем-то другим, взятым за образчик для подражания.

Наши взгляды истерлись о деревянные и кирпичные дома, о центральный рынок и привокзальную площадь, черепахоподобный цирк и дугообразную набережную, втыкающуюся в мост, состоящий из нескольких арок и сцепившей два берега широкой реки. Наши фантазии

не раз были зажжены беспокойными и задорными солнечными бликами на воде; нашим ногам известна каждая выемка на тротуарах ближайших кварталов. Но кто нам дал этот мир, в который нас так прочно вогнала судьба, что не удастся и пошелохнуться? Хрустит под каблуками пористый снег, корчится тишина сквера, протянувшегося вдоль застывшей реки от коротких громких реплик, раздающихся как звуки палочных ударов о неподатливый камень.

Наверное, со стороны двое худощавых подростков выглядят поссорившимися и готовыми затеять драку между собой. Они бранятся теми словами, которые можно прочесть разве что на валких заборах или на стенах общественных туалетов. Как чахоточные мокроту, они выталкивают из себя свое негодование: их рты брызгают слюной, неровны ломающиеся голоса, нервны и прерывисты жесты. Скользят ноги по обледенелой тропинке, грохочут ругательства, способные шокировать родителей, школьных учителей, прохожих – кого угодно, но только не тех угрюмых парней, что неустанно патрулируют по улицам, насаждая свой порядок. Пересмотрен табель о рангах, и та компания, спаянная загадочной, но могучей организующей силой, получила один из самых почетных классов. Эти сорвиголовы – олицетворение ссоры со всем столь неудобным миром, именно они находятся на острие вызова законам и правилам общежития, они – единственные, кто не покорен обстоятельствами. Им наплевать на осуждение взрослых, они дерзко противопоставляют себя всем и всему, потому что с самого рождения презирают этот мир, изначально не сулящий человеку ни радости, ни счастья.

Горят в промозглой темноте близкими звездами кончики раскуренных сигарет: вдыхается едкий дым, от которого слезятся глаза, как еще совсем недавно слезились от лютых морозов. Неумело держат пальцы легкие цилиндрики, предназначенные для медленного тления: голоса нарочито хриловаты, точно поражены хронической простудой, присущей небритым мужикам, с утра до вечера толкущимся возле пивнушек. Трепещет одиноким желтым листиком на короткой тонкой веточке спичечный огонек, восстанавливающий жгучую алость на погасшей сигарете, выхватывает из мрака лица бледнее чахоточной луны: душит, сжимает горло дым, вливается в легкие тошнотворным лекарством от детства.

Копится в карманах мелочь, сэкономленная на школьных обедах: медленно, но неуклонно тяжелеет металлический осадок, чтобы обернуться запретным зельем. Запретное волнует и манит, обещая неизведанные улады. И вот куплена бутылка вина, необходимый довесок к пачке сигарет, обязательный атрибут нового образа жизни. Узкое горлышко залито сургучом, похожим на болячку, закрывающую собой глубокую рану. Найден и приют в знакомом с ранних лет сарайном лабиринте. Воздух заражается запахом дешевого хмельного суррогата, каким причащаются спозаранку раздавленные судьбой бедолаги. Во мраке узких проходов сарайного лабиринта притаились первые лужи, подстерегающие ноги в добротных, на толстом меху ботинках. Но нет времени обращать внимание на эти капканы сырости: с трудом прокладывает себе путь прерывистая струйка вина, сжимаются внутренности от отвращения, содрогается все тело, обрастает подбородок темными каплями, вытягивающими остатки тепла, бунтует сердце частыми ударами. Передергиваются плечи от слишком больших глотков, но нельзя, никак нельзя еще раз потерпеть неудачу, отшатнуться и от этого

испытания. И преодолевается отвращение, а вечерние тени спасительно скрывают брезгливую гримасу. Но от натужных усилий выдержать вторжение алкоголя на глазах неудержимо проступают слезы, набухают горошинами и сползают вниз, чтобы соединиться с каплями вина на подбородке, столь похожими на густую кровь. Почему-то слишком часто стали увлажняться глаза, помечая щеки извилистыми, солеными стежками-дорожками.

Опьянение прибавляет энергии, обнажает потаенные думы, смазывает и даже сбивает самые привычные движения. Охватывает неизъяснимый восторг от пустяков, и его удастся выразить лишь взглядом или невразумительным возгласом. Удовлетворение от благополучно пройденного испытания на зрелость греет мальчишеское самолюбие: веселят любая мелочь, самая избитая шутка. Впервые обнаруживается обоюдный интерес к девчонкам, болтать о которых стало интересно и приятно. Ведь уже запомнились чьи-то стройные ноги, и где-то случайно отметил руки поразительной грации. И стушевался под взглядом чьих-то недоуменно вопросительных глаз, отражающих серо-голубое небо. И еще украдкой любовался волосами, роскошно ниспадающими на хрупкие плечи. И заорожила ритмичность телодвижений идущей навстречу девушки. И подобно вину обожгла внутренности многообещающая пленительность женских плавных изгибов и округлых форм, угадываемых под ночной сорочкой, в какой демонстрировала свою фигуру одна кинодива. Уже складывался идеал собирательной красоты, постоянно дополнясь все новыми штрихами и подробностями, идеал изменчивый, пока еще очень расплывчатый, многоликий, но тем не менее могущественно влекущий к себе.

Шагая под винными парами по улицам детства, чувствуешь себя пионером-переселенцем, решившим обжить дикий край: все вокруг кажется непривычным и необычным. Где-то высоко над головой то ли качаются на невидимых волнах, то ли плывут по ним одинокие фонари, а перед глазами однообразно мелькают безликие, безымянные прохожие. Вдали видны недавно отстроенные многоэтажные дома, изрешеченные горящими окнами. Стерилизованный рассудок молчит, а вся воля целиком уходит на то, чтобы постоянно поддерживать равновесие при ходьбе и вовремя поймать то ускользающий, то скачущий центр тяжести. Все тело стало легко колеблемым, потому что вселилась в него некая демоническая сила, с которой непонятно как бороться. Колышется или вздрагивает каждый предмет, а порой просто куда-то убегает и пропадает, стоит только пристальнее всмотреться в него: перед глазами вершится хаотичное непрекращающееся вращение, юление. Кто-то явно сдвинул с насиженных мест, привел в движение фонарные столбы и деревья, звезды и даже тротуар. Стоит только сделать шаг шире, и точка опоры испаривается испуганной птицей, отчего и возникает ощущение подмены и улиц, среди которых привык находиться. Будто бы и сама земля сократилась или съежилась до маленького шарика, и тот беспрестанно крутится под ногами, и нет ничего поблизости прочного и незыблемого, за что можно было бы ухватиться руками и замереть, вопреки вселенскому верчению.

Лишь к позднему вечеру выветрился дурман и перестала кружиться голова, но все тело поразила тошнотворная слабость. Угас румянец на щеках, а лицо отяжелело. В ожидании сна устало моргали растерянные глаза. Разговор уже давно перестал быть торопливым, сбивчивым, жарким: взгляд поспешно уходил от встречного взгляда, а плечи застыли

в недоуменном пожатии. Холод проникал отовсюду, сжимал ноги, сковывал руки, привольно растекался по спине и деревянил онемевшие губы. Чаемый результат, ставший вполне осязаемым и зримым, вслед за первоначальными восторгами сменился неясным подозрением допущенного промаха, какой-то крайне досадной ошибки, пока еще не выявленной, но испортившей всю затею и принижающей значение добытого опыта. Разочарование еще никак не могло быть высказанным, а было сердито упрятано в пласты памяти: сам факт разочарования являлся запретным или постыдным, как любое поспешное отступление после отчаянно смелой атаки.

* * *

Возле винных магазинов толпятся существа неопределенного возраста, отлученные от церкви семейных отношений, еретики, не верящие в бессмертие человека, но преследуемые неутолимой жадой. Они приходят к торговым точкам с утра, кривят от пронизывающего мартовского ветра одутловатые рожи, нехотя смоят самые дешевые сигареты, ежатся в жалких обносках и разговаривают глухими, осипшими голосами. У них всегда есть что обсудить. Выпивка – это неиссякаемый источник тем, не всегда отчетливых воспоминаний или сладостных предвкушений, врачующих скверное похмельное настроение; это – важнейшее событие дня, сопровождаемое массой нюансов. Последние и вносят разнообразие в монотонность совершаемого ритуала: с кем, когда, в какой обстановке, сколько, где раздобыл деньги, что занятного услышал от собутыльников, как себя чувствовал, проснувшись... Они отнюдь не демагогичны и не высокопарны в выражениях, предпочитают простоту в общении и потому не обращаются к тебе повелительно-назидательным тоном: не выпячивают и свой возраст, как и не претендуют на то, чтобы стать образцом для подражания, а смотрят, как на равного, как на пайщика и соучастника, рассчитывая на определенный вступительный взнос. Отталкивающий вид пьяниц понуждает избегать подобного партнерства: они не внушают ни уважения, ни желания походить на них или проводить среди них время.

Пробуешь выглядеть развязанным и наглым, цинично высмеиваешь ровесников-чистюль, как бы подразумевая тем самым, что во всем отличен от них. Однако стоит появиться в поле зрения пресловутым пацанам и корешам, стоит увидеть их потухшие или даже протухшие глаза, их злые испитые лица, как никнет лихачество добровольного изгнанника из общества и пропадают замашки гуляки, дерзкого забияки-подростка, плюющего на чье-либо мнение о себе. И настороженно наблюдая за той очень знакомой и все же таинственной компанией, постепенно начинаешь испытывать протест против опрометчивого стремление копировать их. Весь содрогаешься от мысли, что и твое лицо могут пропитать такие же скука и злость, что, приваживая к себе преждевременные морщины, будешь обречен на пожизненную тоску по не прикоснувшемуся к сердцу счастью. Этот протест первоначально воспринимается за каприз, за проявление малодушия, но день ото дня напоминает о себя все чаще, властно отодвигая от сомнительных, зланных мест. Все более необходимым видится отторжение от людей, старающихся поскорее скоротать отпущенные им судьбой годы. Как-то незаметно иссякла зависть к «kozyрным валетам» и «королям» затхлых проулков и замусоренных пустырей. Те мизерные и все же весомые

крупницы жизненного опыта, спаянные инстинктом самосохранения, сложились в своеобразный таран, взломали изнутри, сокрушили и этот образ героя. Сквозь марево наивности юные глаза все же сумели рассмотреть то, что толпящиеся с утра до вечера возле магазинов забулдыги, изъеденные неизлечимыми болезнями и перекоsobоченные прочими недугами – это все те же угрюмые, не знающие поражений в драках парни, только десяти- или двадцатилетней давности. И быть может, жили эти ханыги и опойки не обязательно возле рынка или рядом с привокзальной площадью, а на других улицах, но также вводили в трепет мальчишек своего района. И вот теперь, беспомощные, согбенные, с вечно трясушимися руками и грязно-щетинистыми подбородками, отупевшие от беспробудного пьянства, они не замечают никого, кроме своих собутыльников да опустившихся неудачников, бесповоротно разменявших свои мечты на легко достижимые рубежи.

Сосредоточенно смотрят из-под карниза нахмуренных бровей молодые глаза в поисках выхода из тупика: крепнет мучительное чувство вины за то, что столь неумело и глупо пытался распорядиться собой. А вдруг ее и нет совсем – яркой, интересной жизни? Выдумана она в книжках, чтобы дурачить людей.

Противоречивые, порой взаимоисключающие мысли бродят в голове, как в потемках: сталкиваются, расходятся, куда-то устремляется и бесследно исчезают. Есть и гнойные и совсем противные мысли, от которых просто не знаешь, куда деться. Печально осунувшееся знакомое лицо закадычного друга, из которого недавняя болезнь выпила все теплые тона. Длинные, худые пальцы неуверенно разминают сигарету, медлят направить ее в рот, чтобы заткнуть его, как кляпом. Разговор неповоротлив, вязок, прорезается долгими и частыми паузами. И вдруг раздается признание: «Надоело все это. Думаю пойти в баскетбольную секцию. Говорят, с моим ростом туда возьмут». Впервые наши планы разделились на два русла: еще находились вместе, совсем рядом, но уже стояли на самой развилке, и какое-то незримое, сильное течение расталкивало нас, разводило в разные стороны, само разъединяясь на два рукава. Впервые намерения одного не совпадали с интересами другого, и к такому несовпадению было трудно приспособиться. Впервые сохранил за собой секрет, заключающийся в том, что написал два стихотворения, подчиняясь необъяснимому порыву. А впрочем, эта новость могла напомнить о прежнем увлечении фантастическим романом, увлечении осмеянным и отвергнутым как напрасная трата времени.

* * *

Считается талая вода с покатых крыш на южной стороне улицы, и потемнели гребни сугробов: заострились зимние валуны, некогда раздобревшие от обильных зимних вьюг. Исподволь размяк лед на дорогах, и его ошметками, порыжевшими от песка и пропахшими бензином, швыряются колеса проезжающих автомобилей. В тени домов интригующе мерцают сосульки: они будут скошены к вечеру неторопливо разогревающимся солнцем, которое каждое утро восходит для богатой жатвы. В темноте ночи сосульки скоротечно отрастают снова. Тысячи больших и крошечных луж расплескала тут и сям весна. Эти лужи питает капель, срывающаяся с карнизов постепенно лысеющих крыш, и полнят ручьи, потаенно ползущие под осевшими сугробами. Прилетевшие откуда-то птицы сидят частыми запятыми на ветках и на проводах,

по утрам устраивая громкую переключку. Пришла пора равноденствия, равновесия двух могущественных сил, заканчивающаяся убедительной победой тепла и света. Яркое солнце глубит бреши в ледяном панцире, в который крепко закована земля, и осыпает коричневыми точками веснушек лица, бледные после затяжной зимы. Ночью же по-прежнему морозно черное небо, подвешенное высоко над головой на желтый крюк месяца. С крыш свисают стройные сосульки, застывшие, как гвардейцы в почетном карауле. Подсыхают дороги, а на обочинах спивается в неровные наросты ледяная крошка. Зыбкий свет дрожит над городом, густо заселенным неподвижными вечерними тенями. Тихое ожидание близких перемен разлито по улицам, площадям, широкому изгибу набережной.

И день обязательно приходит в сусальном золоте, в алмазном блеске. Открываются задраенные холодом лужи, преобразуются в зеркала самых причудливых очертаний, и все без исключения – в хрустальном обрамлении. Пробуждаются ручьи, вновь принимаясь подтачивать сугробы, а лучи щекочат сосульки, и те, поддаваясь игривой ласке, истают или томно падают на ложа-лунки, выдолбленные в залубеневшем снежном покрове пунктирной каплей. Потрескалась тяжелая скорлупа на реке, продолжающая тем не менее выглядеть белым пробелом между двумя оживающими берегами. Но вот в один из дней проступило тело реки, взъерошенное из-за неугомонного ветра и крепнущее от паводка.

На смену длительности первых лет приходят годы, которые неоднократно переворачивают весь мир, устоявшийся для взрослых и столь шаткий для подростков. Но жизнь постепенно подчиняется ускоряющемуся течению, и рябит в глазах от калейдоскопа превращений, несущих в себе все меньший заряд удивления: отчего нежданно-негаданно посещает ощущение нагрывшей старости, всеизведанности, искушенности. Но это ощущение, как и все в ту пору, опять же нестойко и преходяще, а на смену ему подкрадывается другое всепоглощающее чувство – начала своего бытия, бесконечно далекое от завершения. Новые ритмы громко звучат в ушах, и эта оглушительная музыка преисполнена самых резких переходов: поэтому настроение подвергается разительным перепадам буквально за час или даже за минуту.

Втихомолку, без всяких объявлений и предупреждений, придвигаются события, чтобы в некий миг предстать во всей огромности, важности и, потрясенного, увлечь за собой. Наступает пора, когда внезапно полоснут по сердцу большие глаза, ослепят, засветят память – исчезнет вся прежняя жизнь, лишь останется вот это мгновение, вот этот взгляд, насмешливый и кокетливый, столь яркий и столь притягательный, что ему хочется немедленно повиноваться, забыв о гордости: хочется упреждать все желания, скрытые в нем и даже пойти на смерть, будучи благословенным одним лишь взмахом длинных пушистых ресниц. Полностью нарушается взаимозаменяемость предпочтений и увлечений: сходить в кино, поиграть в футбол или почитать книгу. Все поглощено настоятельной потребностью видеть Ее и только Ее. Негласной целью каждого дня становится минутная встреча с Ней, и если встречи не происходит, то возникает смятение – высшее в шкале тревог. Несостоявшееся свидание сродни с несчастным случаем. Эта девчонка закобалила одним своим присутствием, открытие которого подготавливалось много лет, и вот снизошло озарение – в своем классе была обнаружена та, в ком сосредоточилась вся красота мира.

Любовь сначала поселяется в воображении и проявляется в робких влечениях к десяткам или даже к сотням реальных и вымышленных образов, слагающихся в единый идеал. Этот идеал постоянно видоизменяется, уточняется, дополняется новыми мимолетными симпатиями, бессознательно сопоставляется с каждой встречной на улице или в школьном коридоре девушкой. И вдруг обнаруживаешь, что одно лицо, одна улыбка, одни глаза, живые и непостижимые, затмевают собой самые смелые грезы. Возникает непреодолимое желание видеть только Ее одну, и в тоже время растет и ширится в груди боязнь быть замеченным, а точнее уличенным в своем волнении. Зародившись как самая сокровенная тайна, любовь неизбежно проступает во взгляде, слышится в интонациях, очерчивает границы и сама же понуждает их преступать. Ощущаешь себя невольником, потому что не знаешь, как превозмочь притягательность Ее глаз, становишься бестолковым и невосприимчивым больше ни к чему. Удивление вызывает буквально все, что связано с Ней. Уши слышат только Ее голос и тем более Ее смех: этот смех слегка сотрясает воздух в пустой классной комнате и отзывается учащенным биением сердца. Трижды благословенно красноречие веселого девичьего смеха, убеждающего в том, что ты не скучен, интересен для Нее. Ищущие глаза выделяют в толпе демонстрантов, направляющихся на первомайское праздничное шествие, только ее фигуру, только Ее руки, держащие на тонких белых ниточках целую связку разноцветных воздушных шаров. Пыльца расцветающих соблазнов туманит взгляд, проникает в ноздри, горячит губы. Возбуждение ошпаривает щеки избыточным румянцем. Новые силы будоражат все тело от неслучайных, хоть и осторожных, мимолетных прикосновений, после чего пальцы бережно хранят память о Ее пальцах, Ее ладонях и запястьях Ее рук. Вся жизнь представляется мертвенной пустыней, когда остаешься наедине со своими упованиями, пугаясь их и слабо веря в их сбыточность.

А весна уже торжествует свою необратимую победу. Природа бурно воскрешается из еще совсем недавно холодной земли, а теперь солнечно смеющейся продолговатыми лужицами. Набухшие почки готовы вот-вот брызнуть зеленью липкой, новорожденной листвы: ершисто торчит низкая трава – молодая поросль заполняет серые и черные пустоты между бетонными бордюрами дороги и асфальтовыми дорожками. Резво носятся в воздухе пичуги, радуясь первым теплым денькам. С удовольствием дотрагиваются пальцы до подбородка, обсаженного редкими, пробившимися волосками: приметы очевидной мужественности придают уверенности и «старят» хотя бы на год. На ногах, купленные в соответствии с последними требованиями изменчивой моды, полуботинки, над которыми плещутся пошитые в ателье брюки. Торопливы шаги, сокращающие дистанцию до места условленного свидания: предстоят упоительная прогулка по Откоосу, возможно – сидение за столиком кафе-мороженого, раскинувшегося под открытым небом, и затем – вечерний сеанс в кинотеатре, медленное возвращение к пятиэтажным домам – бесстрастным свидетелям последних школьных лет. Все это – звенья одной цепи, слагающейся из закамуфлированных предлогов или невысказанных желаний как можно дольше находиться вместе. И, в то же время, каждая встреча преисполнена изумительной новизны: постигаешь глубокий смысл, казалось бы, бесцельной прогулки, язык взглядов и почти случайных прикосновений. Стремление неотлучно быть с Нею заставляет придумывать множество предлогов

и находить опять же множество ухищрений, позволяющих длить часы встречи. И в какой-то вечер нисходит неслыханная храбрость: перестаешь изобретать поводы-причины куда-то идти, что-то смотреть и сдвоенное молчание оказывается единственным способом вникнуть в пока еще туманные чаяния друг друга. И в эти сокровенные минуты безмолвного признания в сходстве переживаний и надежд возникает как бы сговор двух единомышленников, который скрепляется печатью столь желанного поцелуя. Весь мир съезживается до этих восхитительных глаз и губ, замерших в робком ожидании повторения изведенного, и возникает иная вселенная, осененная светом любви. И двое новичков в той вселенной потянутся из сумерек застенчивости к обнаруженному истоку животворного света: беззащитный перед беззащитной. И снова встретятся разгоряченные губы, и жарко сожмутся тела в объятьях, предвкушая свое второе рождение.

Нужно быть единственным и неповторимым, всемогущим рабом, чтобы не спугнуть и тем более не оттолкнуть Ее любовь: необходимо стать сильнее, умнее, лучше, чем есть. Нужно увидеть все то, что прежде оставалось за границами внимания, когда бросал скучающие взгляды на цветы, облака, птиц. Сколько всего прекрасного рассредоточено в окружающем мире и так хочется подарить эту красоту Ей одной! Нужно быть достойным того счастья, какое тебе пожаловала судьба! Ведь так мало тех, кому довелось встретиться наяву со своей мечтой! И нельзя, невозможно не петь об этой редкостной удаче.

И все же ниспослано мало блаженства чувству, так вдохновенно воспетому поэтами. Любовь – это всегда свежееоткрытая рана, которую неустанно бережат сомнения и страхи. И никому о них нельзя рассказать, они – только твой удел. Лишь лист бумаги и ручка могут претендовать на положение не болтливых свидетелей восторгов, перемежаемых душевными терзаниями. Любовь ненасытна и потому ширит рамки дня, уворовывая часы у сна и учебы. Любовь эгоистична, настойчиво пытаясь убедить в том, что вся предшествующая жизнь была всего лишь бесцветным существованием обездоленного. Но память сопротивляется подобной настойчивости, у памяти – свое умение и свой подход в отборе фактов и сцен, из которых слагается лента прошлого. Память продолжает сберегать в своих подвалах краски и переживания тех дней, которые тебе сиюминутному видятся никчемными: ведь то, что происходит с тобой здесь и сейчас, просто несопоставимо с прошлым. Но память все равно погружает тебя в пласты прожитого и сурово вопрошает: «Разве ты не был богат дружбой? Наделен ею с самых истоков своей жизни... И почему был? У тебя и сейчас есть он – надежный товарищ. Каждая вторая мысль его. Каждый второй взгляд – тоже его. Все свои первые впечатления от того, что вокруг, вы получили вместе. С другом ты прошел сквозь такую толщу времени, какую вряд ли выдержит иное чувство и иной союз».

* * *

Появились два мерила, две точки отсчета, уживающиеся вместе, как две руки или два глаза: как без солнца, сменяемого луной, немислима жизнь на земле, так и юношеский мир трудно себе представить без любви и дружбы. Такое соседство рождало свои тени, свои реликвии и святыни. Будучи противоположностями, любовь и дружба все же не стали противоборствующими сторонами одного целого, а скорее взаимно

дополнялись, порождая удивительное ощущение полноты неуклонно расширяющейся жизни. Нет, не перечеркнуло новое чувство ярким лучом давнишнюю мальчишескую поруку, проверенную неисчислимыми передрыгами – испытаниями на прочность. Не умерло духовное родство двух душ, склонных к мечтательности и безудержным фантазиям. И разъединенность, столь внезапная, не превратилась в разрыв, а позволила яснее рассмотреть и понять ценность того, что сокрыто за повседневностью столь привычного общения: такая разъединенность заставила ощутить всю горечь возможной утраты. Нет, никак нельзя расторгнуть согласие двоих, не помнящих себя друг без друга. Нельзя отринуть тот удивительный стержень, на который были нанизаны все прошлые, прожитые годы!

И была долгожданна, выстрадана встреча на знакомой и не задетой временем набережной, плавно изогнутые линии которой упирались, с одной стороны, в серую громаду элеватора, а с другой – в контуры моста. И крепкое рукопожатие отозвалось в сознании, как добрый знак. Впервые тогда заговорили о дружбе, что ближе родства и дороже братства: захваченные единым порывом, читали стихи, не опасаясь быть подслушанными случайными прохожими и чувство общности, слитности, берущее свой исток из первоначальных впечатлений далекого детства до слез сильно обнимало нас. И пусть наши лица были освещены разнонаправленными устремлениями и маяками, ничто и не разъединяло нас. Один пылко живописал ни с чем не сравненную красоту своей девушки, другой исповедовался в своей страсти к состязательности, блазнившей победами и наградами в представительных турнирах.

«Спорт – это честная борьба, а игра в команде требует самопожертвования. Это и возможность увидеть страну, и встречи с интересными людьми. Конечно, и тяжкий труд. Это единственный шанс стать Человеком. Это – любовь».

Да, любовь! Вот оно – новое сходство состояний, переживаний, надежд и опасений, присущих обоим. Мы влюблены: каждый – по-своему. Любовь делает нас чище, целеустремленнее, настойчивее и привносит веру в прекрасное будущее – то, чего нам там недоставало в прежние годы. Мы обогатились, не утратив своей оси, пролегла в центре спирали наших лет, и мы не станем отклоняться от той благословенной оси, на каком бы витке жизни не находились.

Было тихо в тот теплый вечер на исходе мая. Противоположный берег Оки, усыпанный мелко раскрошенным светом горящих электрических фонарей, как и обычно изломанным валом нависал над той частью реки, что простерлась за пляжем. Еще совсем недавно на воде была расстелена дорожка закатного багрянца, и вот она незаметно, бесшумно то ли стерлась, то ли была унесена течением реки. А в душистую, густую тень сиреневого куста, заключавшего скамейку в квадратную скобку, уже вклинивалась ночная прохлада. Как и раньше, мост был украшен ожерельем огней, а внизу под нашими ногами темнела лодочная станция. За нашими спинами высились деревья узкого сквера, который мы пересекли, проползли, пробежали из одного угла в другой сотни, а может быть и тысячи раз. А за тыльной стороной сквера начиналась улица, ведущая к железнодорожному вокзалу. Немного в стороне от той улицы короткой дужкой на фоне звездного неба виднелся кусочек купола цирка, в котором мы не пропускали представлений ни одной гастролирующей труппы артистов. А многие представления смотрели и по многу раз.

Трудно было допустить самую мысль о том, что когда-то все это может исчезнуть и что мы сами смертны. Оттого так звонко, взволнованно звучали молодые голоса, и древняя река сдержанно внимала говорящим. А они убеждали друг друга в том, что когда-то в будущем возможно и наступит такой роковой миг, их обоих не станет. Но и этот миг окажется бессилён перед друзьями, уже переселившимися под свет иной звезды, на иную планету, копию этой: они каким-то фантастическим образом успеют перебраться в более чем знакомый двор, сопредельный с лабиринтом сараев. А на приземистой улице будет торчать заметная издалека, заброшенная, старая, сложенная из красного кирпича водонапорная башня с чахлыми тополиными кустиками на самой крыше. И будет также манить к себе парк, бывший некогда смиренным кладбищем. И понесутся наперегонки по лужам двое малышей, переждав бурный ливень под ясенем, и будут в изумлении останавливаться перед двухэтажными, ничем не примечательными, наполовину каменными, наполовину деревянными домами.